

18+

ДИАГНОСТ

ИСПОВЕДЬ АРХИТЕКТОРА



Ростислав Жижченко

Ростислав Жижченко

Диагност. Исповедь Архитектора

«Издательские решения»

Жижченко Р.

Диагност. Исповедь Архитектора / Р. Жижченко —
«Издательские решения»,

Архивы Симплекса хранят дело Виктора Клина — Архитектора, чья «Этика Контроля» едва не стерла с лица земли хаос жизни. От мальчика, боявшегося собственной тени, до творца тоталитарной утопии. А в Тупике Вернадского, за матовым окном, бар «Перепутье» ждёт тех, кто ещё помнит, как это — чувствовать, дышать и быть живым. «Диагност. Исповедь Архитектора» — трагедия падения и тихие голоса тех, кто остался в мире, который едва не стал идеальным.

Содержание

Часть 1	6
Тень под башней. Исповедь Архитектора	7
Дисклеймер	7
Пролог	8
ГЛАВА 1	10
ГЛАВА 2	12
ГЛАВА 3	15
ГЛАВА 4	17
ГЛАВА 5	20
ГЛАВА 6	22
ГЛАВА 7	25
ГЛАВА 8	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Диагност. Исповедь Архитектора

Ростислав Жижченко

© Ростислав Жижченко, 2026

ISBN 978-5-0070-0296-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Часть 1

Тень под башней. Исповедь Архитектора

Дисклеймер

Данное произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, события, организации, технологии и идеологии вымышлены. Любые совпадения с реальными людьми (живыми или умершими), историческими событиями или государственными структурами случайны.

Идеи, высказываемые персонажами (включая «Этику Контроля» и философию Архитектора), не разделяются автором и не являются пропагандой насилия, тоталитаризма, экстремизма или антигуманных действий. Книга изображает трагедию человека, чья любовь превратилась в одержимость контролем, и служит предупреждением, а не руководством к действию.

Книга содержит сцены, связанные с тяжёлой болезнью и смертью ребёнка, а также психологически сложные темы. Рекомендуется для взрослых читателей (18+).

Отдельные новеллы («Руководство по распаковке») являются художественной стилизацией и не содержат инструкций к реальным действиям. Архивные вставки также являются вымыслом и не имеют отношения к реальным организациям или событиям.

Автор благодарит вас за внимание к книге и надеется, что чтение доставит вам удовольствие.

Пролог

Архивы Симплекса не пахнут пылью. Они пахнут будущим, которое победило прошлое, — стерильным, как операционный стол. Озон от контурных стабилизаторов смешивался со сладковатой химией консервантов, призванной спасти последние аналоговые носители от окончательного забвения.

Я всегда думала, что сохранять память — это акт милосердия. Теперь я понимаю: это акт патологоанатомии.

Меня зовут Алиса. Моя должность в реестре — «куратор-реставратор четвёртого класса». По факту — я добиваю тех, кого нельзя спасти, и бальзамирую тех, кто этого не заслуживает.

Объект поступил ко мне в среду с пометкой: «К-7: Несистематизированные личные записи. Углеродная плёнка, фрагменты рукописей на целлюлозе, кристаллы с повреждённой семантической матрицей. Приоритет: низкий».

«Низкий приоритет» означал: разобрать, оцифровать, забыть.

Его считали не человеком, а принципом, воплощённым в плоть — чистым, заразным вирусом Идеи Контроля, который тогда называли по-разному: Паноптикон, Большой Брат, Порядок. После Разрядки, когда Лев и его ученики разобрали Норнир по камешкам, слово «Архитектор» произносили шёпотом, как имя демона, которого можно случайно призвать.

Никто не хотел рыться в его детских кошмарах. Удобнее думать, что монстры рождаются из пустоты, а не из сломанной души.

Я включила проектор. Луч разрезал полумрак, выхватив квадрат стены. На нём заплясали цифровые призраки: треснувшие, выцветшие кадры. Схемы семиотических узоров, похожих на снежинки под микроскопом, с пометками на гибридном языке — нечто среднее между санскритом математики и машинным кодом.

Обрывок текста всплыл в углу:

«Боль — это не сигнал. Это шум. Помеха в системе восприятия. Её надо не интерпретировать, а отфильтровать. Отменить на источнике.»

Типично. Кристальная логика, ведущая в ледяную пропасть.

Я уже собиралась сделать пометку для алгоритма категоризации, как плёнка дрогнула. Сбой — редкий артефакт цифрового переноса, когда два кадра накладываются друг на друга, рождая третий, несуществовавший.

И появился Он. Не Архитектор. Мальчик.

Детская рука, худая, с выступающими костяшками, обводила карандашом контур тени. Тени от игрушечной башни, сложенной из кубиков. Линия была кривой, неточной, живой. Рядом — клякса. Круглая, с размытыми краями. Слеза? Капля чая? Пятно от ягоды?

Тень на снимке была огромной, уродливой, похожей на спрута. А внизу корявым, выводимым с усилием почерком:

«Я её боюсь. Но если я нарисую её границы, она станет моей. Тогда я смогу её стереть.»
Воздух в кабинете застыл.

Вот он. Момент нуля. Не рождение идеи — первичный страх: очертить, чтобы обезвредить. Дать имя, чтобы подчинить. Ужас перед бесформенным. И решение: если что-то пугает, его нужно не понять, а стереть.

Мои пальцы сами потянулись к интерфейсу, останавливая запись.

Они все ошибались. «Чёрный ящик»? Нет. Это была банка с формалином. А в ней, рассечённое и препарированное, лежало детское сердце. Из его камер, как ядовитый цветок, вырос «Сад». Из этой тени на бумаге выросла тень, накрывшая мир.

Профессиональное безразличие дало трещину. Сквозь неё сочилось предчувствие той бездны одиночества, которую мне предстояло увидеть.

Я отключила проектор. Призраки схлопнулись в точку света и исчезли. В тишине остался лишь едва слышный гул серверов — вечное биение Симплекса.

Моя задача — не реставрация. Не систематизация.

Вскрытие.

Проследить, как трепетная, испуганная линия карандаша превратилась в непреложный закон. Как клякса слезы испарилась, оставив только сухой, безупречный контур Пустоты.

Не ради оправдания. Ради диагноза.

Я вдохнула стерильный воздух, пахнувший будущим, и открыла чистый файл.

Куратор: Алиса. Объект К-7. Начало реконструкции.

Личная пометка: они назвали это «личными записями». Это ошибка. Это — история болезни. Давайте поставим диагноз.

Начнём с самого начала. С мальчика, его сестры, синего кубика, пропавшего в темноте под крыльцом. И с тени, которая была страшнее любого монстра — потому что он её создал.

Куратор, примечание к оцифрованному фрагменту:

«Первичный артефакт. Обратная сторона инженерного чертежа, карандаш. Датировка — не менее 80 лет. Метафора „тени“ как первичного хаоса проходит рефреном через все ранние тексты. Глагол „стереть“ — любимый. Процесс начался не в лаборатории. Он начался здесь, в солнечный день, за десятилетие до катастрофы. В щели под крыльцом. В форме пропавшей игрушки.»

ГЛАВА 1

Идеальный мир разбился о её смех. Не о злой умысел, не о катастрофу — о простой, звонкий, ни о чём не думающий смех.

Синий кубик, самый синий из всех, с единственной царапиной в форме молнии на грани, отскочил от мраморной ступеньки, подпрыгнул на секунду, словно не веря своему падению, и покатился. Он катился неловко, вихляя, потому что был не шаром, а кубом, обречённым на несовершенное движение. Виктор следил за ним взглядом, застыв с оставшимися кубиками в руках. Тёплое дерево внезапно стало холодным и колючим.

Кубик достиг края тени, отбрасываемой крыльцом, будто споткнулся о невидимый барьер — и исчез. Нырнул в чёрную, сырую щель под полом, из которой пахло прелой листвой и землёй. Навсегда.

Внутри Виктора что-то сорвалось с крючка. Поднялась чёрная, густая, обжигающая волна. Она залила всё: злость на глупый кубик, ярость на смех Лены, который его толкнул, бессильную злобу на солнце, поставившее эту тень именно здесь, именно сейчас. Волна рвалась наружу. Он сжал кулаки так, что суставы побелели. Мир, который только что был стройной, послушной системой — башня в тридцать семь кубиков, — рассыпался из-за одной ошибки. Из-за шума.

— Витя, что ты? — голос Лены прозвучал без смеха. Она чувствовала его молчаливую бурю кожей.

Он не ответил. Смотрел на щель. На чёрный прямоугольник небытия, поглотивший часть целого. В голове, сама собой, родилась мысль. Пришла не словами, а формой: холодной, ясной, отточенной, как лезвие.

Если убрать смех — этот неконтролируемый сбой? Убрать солнце, создающее чудовищные, пляшущие тени? Убрать случайность падения? Тогда ничто не сможет разрушить башню. Тогда всё будет совершенно.

Солнце клонилось к закату, удлиняя тени. Тень от его недостроенной башни, ещё час назад короткая и компактная, вытянулась. Стала гигантской, аморфной, потерявшей границы. И поползла к Лене, накрыла её сандалии, платье, лицо. Девочка вздрогнула, обхватила себя за плечи.

— Мне холодно, Витя. И страшно.

Он посмотрел на сестру. Она была растворена в тени. Её лицо, обычно живое — то хмурищееся, то смеющееся, — стало плоским, серым, чужим. Просто пятном в море других пятен.

Чёрная волна ярости схлынула, сменившись другой. Острой, леденящей. Страх перед силой, которая превращает порядок в хаос, смысл — в шум, а любимое лицо — в безликую тень. Чистый, животный ужас.

Он резко встал. Колени дрожали.

— Не бойся, — выдавил он, и голос прозвучал хрипло, чужим. — Я нарисую её границы. Тогда она станет моей. И я смогу её стереть.

Он побежал в дом, в свою комнату. Вернулся с карандашом и листом бумаги из папки отца. Лена наблюдала, свернувшись калачиком на траве.

Он опустился на колени перед растекшейся по земле тёмной массой. Тень не имела истинного контура, она дрожала от малейшего движения листьев, её края были размыты, как акварель по мокрой бумаге. Его рука сопротивлялась, пытаясь провести прямую, но тень не состояла из прямых. Слёзы — от злости, от страха, от бессилия — затуманили взгляд. Одна скатилась по щеке и упала на бумагу, прямо у нарисованной кривой. Клякса. Ещё один дефект.

Но он не остановился. Он водил карандашом, пытаясь заключить бесформенное в клетку линий. Вот граница. Ты здесь. Ты не везде. Ты конечна. С каждым штрихом страх отступал,

сменяясь холодным успокоением. Он не изгонял монстра. Он каталогизировал его. Превращал неизвестное в известное. Ужас — в задачу.

Когда он закончил, стемнело. Тень растворилась в общей ночи. Но на бумаге она осталась. Уродливая, похожая на спрута, но заключённая в контур.

Лена уже дремала. Он подошёл, показал ей рисунок.

— Видишь? Теперь она здесь. Она не тронет тебя.

Лена лениво взглянула.

— Страшная, — пробормотала она и закрыла глаза.

Виктор смотрел на рисунок при свете лампы. Он поймал тень. Он не знал, что в этот миг, с карандашом в дрожащих пальцах и кляксой слезы на бумаге, он сделал первый шаг по дороге, которая приведёт его к стерильным лабораториям Норнира, к чертежам «Сада», к тихой комнате, где он поймёт: пытаясь стереть все тени, он стёр и свет, который их отбрасывает.

А в щели под крыльцом лежал синий кубик с молнией. Первая потеря. Первая трещина в зеркале детства.

Комментарий куратора (Алисы):

«Первая полноценная запись. Сенсорная детализация указывает на работу памяти, а не на холодное наблюдение. Он помнил температуру дерева, запах, форму кляксы. Позже эта способность чувствовать «мелочи» атрофируется.

Логическая цепочка: смех → случайность → падение → потеря → тень → страх → желание взять под контроль → рисование границ. Это прототип всего его метода. Весь «Сад» — попытка нарисовать контур вокруг хаоса, чтобы потом «стереть» то, что осталось за границей.

Мальчик боялся тени. Взрослый стал бояться всего, что может её отбросить. Включая жизнь.»

ГЛАВА 2

Если мир Виктора после того дня и стал системой, то система эта была двойной, как сообщающиеся сосуды. В одном сосуде — Лена. В другом — всё остальное. И всё остальное было лишь слабым эхом, фоновым шумом по сравнению с чистым, ярким, сложным сигналом её присутствия.

Их язык родился раньше, чем они осознали, что у других людей он иной. Это был не тайный шифр, а общая операционная система. Смесь полуслов, жестов, взглядов и тишины, которая понималась без объяснений. Лена могла, глядя на него из-за стола, пошевелить мизинцем левой руки — и он знал: «мама опять пахнет лекарствами и грустью». Он мог, чертя в воздухе два параллельных отрезка, спросить без слов: «тебе сегодня больно?» Она в ответ сжимала кулак (да, но терпимо), закрывала глаза (да, очень) или ритмично стучала пальцем по столу (нет, сегодня я птица). Это был идеальный код. Без потерь при передаче. Без шума.

Родители были далёкими спутниками на орбите их общего мира. Отец, крупный, пахнущий металлом и машинным маслом инженер-проектировщик, говорил с Виктором на языке чертежей.

— Видишь эту балку? Она держит всё. Но если здесь, в узле, будет люфт, — он стучал карандашом по бумаге, — конструкция поплывёт. Недопустимо. Всё должно быть просчитано. Всё на своём месте.

Он говорил о мостах. Виктор слышал о мире. Мир тоже был конструкцией. С непросчитанными узлами. С люфтами. Как в Ленином теле.

Мать, когда-то игравшая на арфе в оркестре, теперь редко прикасалась к инструменту. Она пахла не духами, а сладковатым запахом микстур и валерианы. Её музыка свелась к двум-трём повторяющимся, тоскливым мелодиям, которые она наигрывала в сумерках, глядя в окно. Для Виктора эта музыка была таким же проявлением хаоса, как тень от башни — красивым, но абсолютно непредсказуемым, эмоциональным шумом. Он не понимал, как можно добровольно создавать такие неструктурированные звуки, когда мир и так поломан.

Поломанность мира зримо воплощалась в Лене. Её болезнь не имела для него громкого медицинского названия — «синдром Вильямса-Кроу». Для него это был «Процесс». Процесс распутывания.

Первый симптом они заметили, когда ей было пять, а ему семь. Они собирали пазл — звёздное небо. Лена всегда была лучше в этом: она видела не форму кусочка, а его намерение, цветовую аномалию, ритм. И вдруг её рука замерла. Она смотрела на кусочек в пальцах, и в её глазах плавала растерянность.

— Витя... а... куда он?

— Куда что?

— Этот... — она повертела кусочек. — Он же был... для той туманности. Или нет? Он будто... забыл.

Он тогда просто взял кусочек из её руки и поставил на место. «Забыл». Странное слово. Кусочек пазла не может забыть. Но Лена могла. Связь между образом в её голове и объектом в руке дала сбой. Первая ниточка в узле её сознания дрогнула.

Потом было больше. Она могла забыть слово «чайник», глядя прямо на него. Не название, а функцию. Она тыкала пальцем и спрашивала: «Витя, а эта штука... для горячего?» Её память не стиралась. Она расслаивалась. Связи между понятиями, которые для других были незыблемы, в её голове начинали слабеть, рваться.

Виктор начал вести журнал. Тайный, в тетрадке с чёрной обложкой. Он не записывал симптомы, как врач. Он записывал закономерности сбоев.

«17 марта. Лена не узнала запах сирени. Сказала: „пахнет фиолетовым и треском“. Связь „обоняние — название“ дала ошибку. Но появилась новая связь: „запах — цвет — звук“. Это не потеря. Это переподключение.»

«3 апреля. Забыла, как завязывать шнурки. Плакала. Показал 8 раз. Повторила, но как робот. Процедурная память повреждена. Нужен внешний алгоритм.»

Он рылся в отцовских книгах по механике, а потом в медицинской энциклопедии. Искал не диагноз, а слабое звено. Если это система, то в ней есть ключевой узел. Найди узел — укрепи его — система стабилизируется. Так работали мосты отца. Так, он был уверен, должно работать и всё остальное.

Однажды, застав его за энциклопедией с главой про нейронные сети, отец похлопал его по плечу.

— Ищешь, как починить? Умно. Вселенная — сложный механизм. В нём тоже бывают поломки. Наша задача — понять схему и устранить неисправность.

Отец говорил об абстракции. Виктор думал о сбивчивом дыхании Лены, когда она просыпалась от ночных спазмов, и о том, как её глаза искали его в темноте.

Мать, увидев ту же энциклопедию, лишь беззвучно заплакала, прижав ко рту платок. Её слёзы были частью того же хаоса — жидкими, солёными, бесполезными. Они ничего не чинили.

А Лена... Лена жила в разваливающемся доме своего сознания, но умудрялась находить в руинах странную красоту.

— Витя, смотри, — говорила она, глядя на разводы после дождя на асфальте. — Это же как мой мозг. Всё поплыло, смешалось. И получилось... новое. Иногда красивое.

Он смотрел на грязные разводы и видел только беспорядок. Он не понимал, как в этом можно найти ценное. Для него ценным было целое, работающее, предсказуемое. Как его башня из кубиков.

Но башню можно перестроить. А тающую связность Лениного мира — нет. Каждый новый сбой, каждое «забытое» слово было молотком по хрустальному сосуду его спокойствия. Он ловил себя на мысли: когда она говорит, он уже не слушает смысл, а сканирует речь на предмет сбоев, словно инженер слушает стук в двигателе. Он любил её — остро, болезненно, как любят часть себя, которая кровоточит. И эта любовь всё больше походила на тихую панику часового, который видит, как трескается фундамент стены, которую он обязан охранять.

В его чёрной тетрадке, рядом с детскими наблюдениями, однажды появилась запись, сделанная уже твёрдым, почти взрослым почерком:

«Гипотеза: боль — это сигнал о распаде связей. Высшая задача — не лечить боль, а укреплять связи. Делать систему невосприимчивой к распаду. Создать постоянный, неизменный порядок. Анти-хаос.»

Он написал это, глядя, как Лена во сне беспокойно ворочается. Он хотел создать для неё мир, где нет боли, где ни одна связь не может разорваться. Мир вечной, неизменной башни.

Он не догадывался, что проект этого мира начинается не с любви, а с безумного, детского страха перед тенью, которая сейчас колыхалась на стене от ночника — тенью от спящего, беззащитного, хрупкого тела его сестры.

Комментарий куратора (Алисы):

«Здесь виден фундамент Этики Контроля. Она выросла не из высокомерия, а из отчаянной, инструментальной любви. Он воспринял сознание (а затем и реальность) как инженерную конструкцию. Страдание — признак ошибки. Любовь — желание эту ошибку исправить.»

Поляризация: отец (логика, порядок) против матери (эмоции, хаос, капитуляция). Лена — повреждённый, но самый ценный объект. Миссия кристаллизуется: спасти сложность от её собственной хрупкости. Парадокс, который он не разрешит: чтобы «спасти» систему, он

будет готов жертвовать её частями. Уже здесь закладывается логика будущих жертвоприношений во имя целого.»

ГЛАВА 3

Болезнь Лены не была огненной катастрофой. Она была тихим, методичным затоплением. Вода поднималась медленно, сантиметр за сантиметром, затапливая сначала подвал воспоминаний, затем первый этаж моторных навыков, подбираясь к жилым комнатам личности. А Виктор, как отчаянный инженер на тонущем корабле, строил дамбы, мастерил насосы из подручного смысла.

Он создал для неё «внешний жёсткий диск» — блокнот в голубой обложке, куда они вместе записывали важное. Не факты — связи. «Мама пахнет яблоками, когда печёт пирог». «Папа кашляет так: кхм-кхм, когда читает газету». «Боль в спине — это красный шар. Его можно мысленно откатить в угол». Это была попытка создать карту для территории, которая постоянно меняла очертания.

Но карта безнадёжно отставала от местности. Однажды весенним утром Лена не узнала его. Она сидела на кровати, и в её широко открытых глазах плескался чистый, немой ужас.

— Ты... — прошептала она, отодвигаясь к изголовью. — Ты кто?

Мир Виктора перевернулся и треснул по шву. Он не был «Витя». Он стал «кто-то». Чужой в собственной комнате.

— Лена, это я, — голос его сорвался.

Он показал на себя, потом на неё, повторил их тайный жест — два пальца, сведённые у виска, старый знак «я думаю о тебе». Она смотрела на его пальцы, будто видела сложный иероглиф. И вдруг расслабилась. Не потому что вспомнила, а потому что устала бояться.

— Ладно, — безразлично сказала она и отвернулась к окну.

Этот день стал точкой невозврата. Больше не было «Процесса». Началась открытая война между порядком, за который цеплялся Виктор, и всепоглощающим хаосом болезни.

Он усилил наблюдения. Если раньше он фиксировал сбои, то теперь искал триггеры. Смена погоды? Усталость? Определённые продукты? Он вёл графики, строил диаграммы на миллиметровке отца. Его комната стала похожа на штаб спасения. На стенах — схемы нейронных связей из медицинского атласа, испещрённые пометками. На столе — образцы её пищи в баночках, записи о продолжительности сна, попытки зафиксировать «коэффициент ясности взгляда» по десятибалльной шкале. Это был абсурд. И это была единственная доступная ему форма молитвы.

Родители окончательно разошлись по полюсам отчаяния. Отец работал допоздна, приносил брошюры о передовых исследованиях в нейробиологии, говорил о «прорывах», которые вот-вот случатся. Его надежда была громкой, навязчивой и хрупкой, как стекло. Мать замолчала окончательно. Она ухаживала за Леной с механической, выхолощенной нежностью, как сиделка. Её арфа пылилась в углу. Иногда ночью Виктор слышал её приглушённые рыдания за стеной — ровный, монотонный звук. Ещё один шум в общем хаосе.

А Лена угасала. Но не как свеча, а как сложная мозаика, из которой кто-то методично выковыривает кусочки. Она могла вспомнить стишок из детсада, но не помнила, что ела на завтрак. Она узнала кошку Мурку, но назвала её «пушистый шорох». Её речь становилась поэтичной и абсолютно нефункциональной. Для Виктора это было мучительно. Поэзия была беспорядком. Красивым, но бесполезным.

Однажды, когда Лена не могла даже самостоятельно сесть, он сидел у её кровати и читал вслух отцовскую книгу по теории систем. Про узлы, обратные связи, устойчивость. Лена лежала с закрытыми глазами. Он думал, она спит. Но когда он замолчал, она открыла глаза. Взгляд был на удивление ясным, почти прежним.

— Витя, — тихо сказала она.

Сердце у него упало, потом взлетело.

— Я здесь.

— У меня внутри... всё рвётся. Ниточки. — Она посмотрела на свои тонкие руки. — Ты... не дашь им порваться?

Это был не вопрос. Это было завещание.

— Нет, — выдохнул он. — Я не дам. Я всё склею. Я найду способ.

Он не просто нашёл способ. Он нашёл виноватого. Вину он возложил не на болезнь — болезнь была лишь инструментом. Виновата была сама природа мироздания. Тот принцип, который позволял ниткам рваться, связям — ослабевать, сложному — упрощаться до хаоса. Вселенная была плохим инженером. Она создавала шедевры, но не обеспечивала их сохранность.

В его чёрной тетрадке в тот вечер появилась запись, обведённая в рамку:

«Принцип №1: хрупкость — неотъемлемое свойство сложных систем в текущей конфигурации реальности. Следовательно, текущая конфигурация реальности — ошибка проектирования.

Следствие: исправление ошибки на локальном уровне (Лена) невозможно. Требуется глобальный патч. Изменение самих правил существования.»

Он перестал быть мальчиком, спасающим сестру. Он стал тем, кто объявил войну мироустройству. Любовь превратилась в холодную, всепоглощающую ненависть к условиям, которые позволили этому случиться.

А Лена на следующий день снова его не узнала. Но теперь это не вызывало слёз. Только леденящую решимость. Каждый её потерянный кусочек был ещё одним доказательством в его внутреннем суде над реальностью. Приговор был предreshён: реальность виновна. Оставалось найти палача и инструмент.

Он смотрел, как мать кормит Лену с ложечки кашей. Девочка покорно открывала рот, её глаза были пусты, как окна заброшенного дома. И Виктор подумал то, о чём потом будет гнать от себя как о кошунстве, но что уже навсегда поселилось в основании его души:

«Может быть, пустота — не худший исход. Может быть, пустота лучше, чем эта агония распада?»

Это была первая, самая страшная мысль о «Саде». Не о форме. О сути. О мире без боли распада. О мире, где ни одна ниточка не может порваться, потому что их просто нет. Только совершенный, вечный, неизменный узор.

Война была объявлена. Теперь нужно было искать оружие. И он знал, где его искать. В науке. Не в той, что любопытствует. В той, что исправляет.

Комментарий куратора (Алисы):

«Кристаллизация миссии. Объектом борьбы становится не болезнь, а сама природа реальности. Сестра превращается из личности в символ, в доказательство порочности мироздания. Любовь сублимируется в миссию.

Формируется нарциссическая составляющая: он — избранный, видящий «ошибку проектирования». Он — ревизор, призванный её исправить.

Мысль о «пустоте как избавлении» — семя будущего «Сада». Он ещё не осознаёт, что предлагает заменить одну боль (распад) на другую (небытие в совершенстве). Логическая цепочка выстроена. Он идёт по этому пути, веря, что ведёт к спасению. Это и есть трагедия.»

ГЛАВА 4

Смерть не пришла как вор. Она пришла как тихий, методичный демонстражник. Она не выключила свет, а вывинчивала лампочки по одной, оставляя комнату в странных, перекошенных сумерках.

Последняя неделя. Лена перестала вставать. Её тело, всегда такое лёгкое и подвижное, стало невесомым грузом на простынях. Боль, которую она раньше описывала как «красный шар» или «острый визг», стала константой. Она даже не стонала. Она просто лежала, и её дыхание было похоже на работу тонкого механизма, в котором вот-вот заест последняя шестерёнка.

Виктор дежурил у кровати, как страж у врат, за которыми происходило нечто невыразимое. Он не плакал. Он наблюдал. Записывал в уме частоту дыхания, фиксировал моменты, когда её взгляд — уже почти всегда неподвижный и затуманенный — вдруг на секунду прояснялся и задерживался на нём. В эти секунды он жадно ловил его, пытаясь прочесть: прощание, вопрос, узнавание. Но там была лишь глубокая, бездонная усталость. Усталость от распада.

Врач, усталый человек в помятом халате, говорил родителям на кухне тихими, приглушенными словами: «...никаких вариантов... паллиативная помощь... важно обеспечить покой...». Виктор стоял за дверью и слышал, как эти слова превращаются в белый шум. Они не были частью его словаря. Его словарь состоял из «диагноз», «интервенция», «решение». Покоя не существовало. Была только работа системы или её отказ.

Последний день начался с тишины. Не обычной, а густой, давящей, как вата. Даже птицы за окном не пели. Мать, с лицом, похожим на маску из воска, сидела в кресле, держа Ленину руку в своих. Отец стоял у окна, спиной к комнате, его плечи были неестественно прямыми, будто залитыми бетоном.

Виктор сидел на стуле у изголовья. Он смотрел на сестру и вёл в уме последний, безнадежный протокол.

14:30. Дыхание поверхностное. 12 вдохов в минуту. Паузы между вдохами увеличиваются.

14:47. Цианоз вокруг губ. Кислородное голодание. Система снабжения даёт сбой.

15:03. Рука холодная. Терморегуляция нарушена.

Он не думал «она умирает». Он думал: «функции отключаются последовательно. Сбой каскадный». Это превращало невыносимое в задачу по документированию катастрофы.

И тогда Лена открыла глаза.

Не так, как раньше — смутно, невидяще. Она открыла их широко, и в них на миг вспыхнул свет. Чистый, осознанный, болезненный свет. Она повернула голову — мучительное, едва заметное движение — и нашла его взгляд. Её губы дрогнули.

Виктор замер. Он наклонился.

— Лена? Я здесь.

Она не смогла улыбнуться. Но в её глазах, в этой последней вспышке ясности, было столько, что у него захватило дух. Там были любовь, извинение, просьба, благодарность. За что? За то, что он был рядом, пока её мир рассыпался? За его безумные схемы и блокноты?

Она попыталась что-то сказать. Губы сложились в беззвучное «В...». На «Витя» уже не хватило сил.

Потом свет в её глазах начал меркнуть. Не резко, а плавно, как закат. Ясность растворилась, уступив место пустой, стеклянной влаге. Взгляд снова стал неподвижным, устремившись куда-то сквозь потолок.

Дыхание стало прерывистым. Короткий всхлип-вдох. Длинная пауза. Ещё всхлип. Пауза длиннее.

Виктор не отрывал взгляда. Он видел, как уходит последнее. Не душа — он не верил в души. Уходила сложность. Та самая невероятная, живая система паттернов, жестов, полуулыбок, странных словечек, которая звалась Леной. Она не уносилась в небо. Она растворялась. Распадалась на базовые компоненты: углерод, воду, электрические импульсы, гаснущие в нейронах.

Последний выдох был едва слышным шелестом. Потом — тишина. Не пауза. Окончательная, бесповоротная тишина. Механизм остановился.

Мать издала странный, сдавленный звук, будто её душили, и припала к бездвижной руке. Отец резко обернулся от окна, его бетонная поза дала трещину, лицо исказилось гримасой яростного, бессильного недоумения.

А Виктор сидел. Он смотрел на пустую оболочку, которая минуту назад была вселенной. Внутри него не было ни боли, ни слёз. Только ледяная, абсолютная ясность. Тишина после долгого, невыносимого шума.

Он поднялся. Подошёл к кровати. Посмотрел на лицо сестры. Оно было странно спокойным, чужим и простым. Все морщинки тревоги, тени боли разгладились. Осталась гладкая, белая маска.

Он протянул руку и дотронулся до её лба. Кожа была уже не тёплой, а прохладной, как фарфор. Это был не Лена. Это был объект, из которого ушла информация.

И в этот миг внутри него что-то сломалось окончательно — и что-то закалилось, как сталь в жидком азоте. Горе не прорвалось наружу. Оно сжалось в чёрную точку, сингулярность ненависти. Не к болезни. Не к врачам. К закону, который это позволил. К принципу мироздания, по которому сложное, хрупкое и прекрасное обречено на уничтожение.

Он отнял руку. Повернулся. Прошёл мимо рыдающей матери, мимо отца, опустившегося на колени у кровати. Вышел из комнаты. Прошёл по коридору. Вошёл в свою комнату.

На столе лежала чёрная тетрадь. Он сел. Открыл её. На чистой странице его рука вывела не запись, а манифест:

«Наблюдение: высшая форма сложности уязвима перед низшей формой хаоса.

Вывод: существующая онтологическая парадигма враждебна жизни.

Цель: сменить парадигму. Создать условия, при которых сложность не ведёт к хрупкости, а жизнь — к страданию. Любой ценой.»

Он поставил точку. Закрыв тетрадь. Подошёл к окну. На улице был обычный день. Солнце светило. Кто-то смеялся. Мир жил, шумел, страдал и умирал, принимая это как данность.

Виктор Клин смотрел на этот мир и не чувствовал ничего, кроме холодного, безраздельного презрения. Этот мир был бракованным. Он, Виктор, был инспектором, обнаружившим фатальный дефект. И он давал себе клятву — не молиться, не скорбеть, не принимать. Исправить. Пересобрать. Переписать правила.

В соседней комнате лежало тело его сестры — первая и самая горькая жертва на алтаре ошибочной реальности. Он больше не будет плакать по жертвам. Он станет архитектором реальности, в которой жертвы не нужны. Потому что не будет и самой жизни в её проклятой, хрупкой, прекрасной текучести. Будет только совершенный, вечный, неподвижный порядок.

Он не знал, что в этот момент, стоя у окна с ледяным сердцем и стальной волей, он только что похоронил не только Лену. Он похоронил себя. То, что выйдет из этой комнаты, будет уже не Виктором. Это будет проект. Проект Архитектора.

Комментарий куратора (Алисы):

«Нулевая точка. Эпицентр. Здесь происходит не эмоциональный срыв, а метафизический разрыв. Его сознание, не в силах вынести хаос горя, совершает побег в гиперрациональ-

ность. Смерть сестры становится не трагедией, а «доказательством от противного» для его теории.

Обратите внимание на язык: «каскадный сбой», «функции отключаются», «система». Он дегуманизирует смерть, чтобы выжить. Но, дегуманизируя смерть, он дегуманизирует и жизнь.

Манифест — это не дневник мальчика. Это декларация войны. С этого момента вся его энергия направлена не на то, чтобы исцелять боль, а на то, чтобы доказать: сама возможность боли — системная ошибка, подлежащая удалению.

Лена становится не памятью, а символом. Иконой в церкви грядущего Переустройства. Самое страшное: он искренне верит, что совершает акт высшей любви, мстя мирозданию за её гибель.»

ГЛАВА 5

Тишина после похорон была не пустой. Она была густой, тягучей, как смола. Она впитала все звуки: приглушённые шаги родителей, скрип половиц, тиканье часов на кухне — и окутала дом непроницаемым саваном.

Мать перестала плакать. Она перестала делать что-либо. Она сидела в кресле в гостиной, укутанная в серый плед, и смотрела в одну точку на обоях, где узор образовывал несовершенный круг. Она превратилась в монумент собственному горю.

Отец ушёл в работу с остервенением, будто пытался прорыть тоннель на другой конец земли, где Лена была бы жива. Он возвращался за полночь, пахнувший металлом и чужими чертежами, молча ужинал стоя у холодильника и исчезал в своей комнате. Дом стал набором изолированных камер.

Виктору было легче. У него была тетрадь. Мир стал для него не местом страдания, а объектом исследования. Каждая трещина в штукатурке, каждый взгляд матери, застрявший в пустоте, — симптомы. Симптомы «ошибки проектирования», которая убила Лену и теперь разъедала всё остальное.

Он начал с себя. С той чёрной волны, что поднималась в горле, когда он случайно наткнулся на старую ленточку в её комнате. Он не позволял ей вырваться. Он подавлял. Методично, как инженер глушит вибрации в конструкции.

Он выработал ритуалы.

Утром, встав с кровати, он ставил тапочки строго параллельно, носок к носку. Расстояние между ними — ровно двадцать сантиметров.

Он считал шаги от своей комнаты до ванной. Их всегда должно было быть семнадцать. Если получалось шестнадцать или восемнадцать, он возвращался и проходил заново.

Он раскладывал вещи на столе по линейке: карандаш под углом 45 градусов, тетрадь параллельно краю, ластик строго посередине. Мир в радиусе его контроля должен был подчиняться геометрии. Геометрия не предавала.

Мать иногда смотрела на него пустыми глазами, наблюдая, как он выравнивает ложки на обеденном столе. В её взгляде не было осуждения. Только слабое удивление.

Отец однажды за ужином хрипло сказал:

— Порядок — это хорошо, Витя. Но мир не всегда поддаётся линейке.

Виктор поднял на него глаза.

— А должен. Если он не поддаётся — значит, он сломан. Сломанные вещи нужно чинить.

Отец хотел что-то сказать, но лишь тяжело вздохнул.

Бегство в математику стало единственным убежищем. Не школьная — решающая про бассейны и трубы. А высшая. Чистая, абстрактная, не запятнанная реальностью. Теория множеств. Дифференциальные уравнения. Топология. Здесь царила абсолютная красота. Теоремы были незыблемы, доказательства безупречны. Не было места случайной смерти, разрыву связей, слепой боли. Был порядок в его кристальной форме.

Он читал запоем, выписывая формулы в отдельную тетрадь с зелёной обложкой. Каждая решённая задача была маленькой победой над хаосом. Он строил в уме идеальные миры, описываемые изящными уравнениями.

Он начал видеть математические структуры в обыденном. Полёт воробья — решение дифференциального уравнения, искажённое ветром. Узор на занавеске — фрактал, испорченный кривыми руками швеи. Весь мир представлял как прекрасный, но криво исполненный чертёж.

Идеальный мир существовал. Он был в формулах. А реальный мир был его уродливой пародией.

Однажды вечером Виктор вышел в сад. Тот самый, где разбился синий кубик. Сад был запущен. Трава росла клочьями, на клумбе буйствовали сорняки. Хаос отвоёвывал территорию.

Он подошёл к крыльцу. Присел на корточки. Заглянул в щель. Там, во влажной темноте, по-прежнему лежал кубик. Он покрылся плесенью, почернел, но форма ещё угадывалась.

Виктор не потянулся доставать его. Он смотрел. Этот кубик был артефактом из времени «до». Когда мир ещё казался поправимым, а тень можно было просто нарисовать и стереть.

Он понял, что ошибался. Тень стереть нельзя. Можно только уничтожить источник света. Чтобы не было теней, нужно погасить солнце.

Он выпрямился. Достал из кармана зелёную тетрадь. Открыл на чистой странице. Написал уже не как гипотезу, а как постулат:

«Задача: найти отображение между совершенством математических структур и дефектной тканью реальности. Затем — применить обратную функцию: наложить совершенство на реальность, вытеснив дефекты. Переписать мир по правилам чистой логики.

Метод: наука. Не как познание, а как инструмент пересборки.

Цель: новая онтология. Мир без шума.»

Он закрыл тетрадь. В последний раз посмотрел на тёмный прямоугольник под крыльцом. На могилу кубика.

Когда он вернулся в дом, мать всё так же сидела в кресле. Он прошёл мимо, не глядя. Поднялся в свою комнату. Сегодня он поставил тапочки не на двадцать, а на двадцать один сантиметр друг от друга. Просто чтобы проверить, выдержит ли разум такое нарушение ритуала. Выдержал. Он почувствовал не тревогу, а холодное удовлетворение.

Контроль углублялся.

Лена была мертва. Родители — живыми мертвецами. Мир — бракованной конструкцией.

А у него был план.

Комментарий куратора (Алисы):

«Формирование обсессивно-компульсивного каркаса личности. Ритуалы — первые, примитивные «башни» против хаоса внутренней боли. Он не пытается исцелить боль. Он строит вокруг неё стену из правил.

Математика становится для него сакральным пространством, «миром идей» Платона, который единственно реален. Всё остальное — искажённая копия. Это классическое мышление будущего тирана: есть Идеал (в его голове) и грязная реальность, которую нужно силой подогнать под идеал.

«Задача» — это уже техническое задание для проекта «Сад». Мальчик-вундеркинд хоронит себя в формулах, чтобы не сойти с ума. Именно из этой могилы выползет Архитектор, уверенный, что имеет право «переписать мир», потому что мир «написан с ошибками».

Страшная, безупречная логика. Она почти сложилась.»

ГЛАВА 6

Институтская аудитория пахла мелом, старостью и пылью с книжных переплётов. Для Виктора это был запах храма. Он сидел в первом ряду, позади бурлил поток обычных студентов — они перешёптывались, передавали записки, зевали. Он их не слышал. Он был сфокусирован на доске и на человеке перед ней.

Олег Матвеевич — или просто Матвей, как он просил себя называть, — не был похож на профессора. В его помятом пиджаке, расстёгнутой рубашке и привычке тереть переносицу, когда думал, была какая-то неряшливая, домашняя гениальность. Он не читал лекций — он разговаривал с пространством, бросая в аудиторию идеи, как камни в пруд.

Тема сегодня: «Энтропия и информация в сложных системах». Виктор замер.

— Представьте детскую пирамидку, — говорил Матвей, расхаживая. — Кольца разбросаны. Это хаос, высокий уровень энтропии. Вы надеваете кольца на стержень в правильном порядке. Энтропия снижается, возникает порядок. Информация — это и есть порядок, паттерн. Но! — он остановился. — Что произойдёт, если вы возьмёте идеально собранную пирамидку и начнёте её бесконечно трясти?

В аудитории хихикнули.

— Она развалится, — сказал кто-то с задних рядов.

— Верно! — оживился Матвей. — Энтропия снова возрастёт. Порядок стремится к беспорядку. Это второй закон термодинамики. Но жизнь — это локальный, временный бунт против этого закона. Жизнь собирает свои пирамидки из атомного хаоса и какое-то время удерживает их. Цена этого бунта — хрупкость и неизбежное поражение в долгосрочной перспективе.

Виктор почувствовал, как что-то холодное вонзается ему под рёбра. Хрупкость. Неизбежное поражение.

После лекции он подошёл к кафедре.

— Олег Матвеевич. Вопрос.

— Да, Клинт? — профессор взглянул на него поверх очков. Он уже знал этого странного, молчаливого студента.

— Вы сказали: «танцуем с хаосом». А если не танцевать? — голос Виктора звучал ровно. — Если найти способ остановить музыку? Заморозить пирамидку в собранном состоянии навсегда? Изменить условия так, чтобы второй закон не работал?

Матвей отложил бумаги. Посмотрел на него пристально.

— Это был бы конец, — мягко сказал он.

— Конец хаоса, — поправил Виктор.

— Конец всего, Клинт. Танца, музыки, самой пирамидки как процесса. Замороженная пирамидка — это уже не игрушка. Это музейный экспонат. Мёртвый.

— Но целый, — настаивал Виктор. — Неразрушаемый.

— А зачем ему быть целым, если он мёртв? — Матвей сел на край стола. — Ценность пирамидки не в кольцах на стержне. А в том, что ребёнок может её разобрать и собрать снова. В процессе. В возможности выбора, даже ошибки.

Виктор молчал. Для него ценность была именно в статическом, идеальном состоянии. В отсутствии ошибок.

— Вы говорите как инженер, Клинт, — улыбнулся Матвей. — Я — как учёный. Для меня ценность в самом вопросе, в исследовании, в несовершенстве данных. Реальность интересна не завершённой, а своей игрой.

Матвей видел в хаосе партнёра. Виктор видел врага.

— А боль? — вдруг спросил Виктор, и его голос впервые дал трещину. — Боль, когда пирамидка ломается? Разве это часть «игры»?

Матвей взглянул на него с внезапной пронизательностью.

— Боль — да, часть игры. Самая тяжёлая. Но без боли нет и восторга, удивления, открытия. Это две стороны одной монеты.

Виктор кивнул, не соглашаясь. Для него монета была бракованной. Её нужно было не подбрасывать, а переплавить.

Матвей стал для него одновременно учителем и главным оппонентом. Он ходил на все его курсы, даже вне программы. Матвей открывал ему инструменты, о которых Виктор не мечтал. Но каждый раз, когда Виктор пытался повернуть их в сторону «исправления», Матвей возвращал его к «пониманию» и «принятию».

Их вечерние беседы в опустевшей аудитории были лучшими часами в жизни Виктора и самыми мучительными. Интеллектуальный сыр, который давал мудрый кот — и одновременно клетка.

— Посмотри на этот кристалл, — как-то сказал Матвей, вертя кусок кварца с включениями. — Идеальная решётка. И вдруг — примесь, ошибка. Из-за неё кристалл неидеален. Но именно эта ошибка создаёт неповторимый узор. Дефект рождает красоту.

— Дефект остаётся дефектом, — парировал Виктор. — Он ослабляет структуру.

— Или придаёт уникальность. — Матвей вздохнул. — Ты хочешь мира из стерильных, одинаковых кристаллов? Мира без цвета?

Однажды речь зашла о будущем.

— Создать теорию Абсолютной Стабильности, — сказал Виктор, глядя в окно. — Найти условия, при которых сложная система может существовать вечно без распада.

— Вечность — скучное времяпрепровождение, — усмехнулся Матвей. — Допустим, ты найдёшь такие условия. Что тогда?

— Тогда нужно будет применить их. К реальности.

Матвей откинулся в кресле.

— Это уже не наука, Витя. Это инженерия божественного уровня. Ты хочешь стать демидургом. Это опасный путь.

— Опасный для кого? Для хаоса?

— Для тебя. — Матвей снял очки, протёр их. — Потому что, начав переделывать мир, ты первым делом переделаешь себя.

Виктор промолчал. Он уже переделал себя. Выжиг всё мягкое.

— Я думал, ты пойдёшь в диагностику, — тихо сказал Матвей. — У тебя дар видеть связи, паттерны сбоев. Ты мог бы лечить системы, а не замораживать их.

Слово «диагност» прозвучало как оскорбление.

— Лечение — это признание правомочности болезни, — сказал Виктор, поднимаясь. — Я не признаю.

Он вышел. Их орбиты расходились. Матвей видел в науке способ любить мир с изъятиями. Виктор — способ вынести приговор и заменить его на лучший.

Он шёл по осенним улицам, и в голове сложилась полная формула. Он остановился под фонарём, достал блокнот и записал:

«Дано: мир (W), подверженный энтропии (E), вызывающей страдание (S).

Известно: существует область Абсолютного Порядка (P_{abs}) в математической реальности.

Задача: найти изоморфизм $f: W \rightarrow P_{abs}$.

Решение: изменить W так, чтобы f стало возможным. Перестроить W по образу P_{abs} .

Итог: новый мир W », где $E = 0$, следовательно, $S = 0$.»

Не как мечту. Как техническое задание.

Где-то в городе люди смеялись, ссорились, боялись, надеялись. Они были живыми пирамидами, которые трясла музыка хаоса.

Виктор смотрел на их огни в окнах и не чувствовал ничего, кроме ледяного превосходства. Они танцевали на палубе тонущего корабля. А он уже чертил чертежи ковчега. Ковчега, в котором не будет ни качки, ни музыки, ни танцев. Только вечный, немой, идеальный порядок.

Комментарий куратора (Алисы):

«Идеологическое крещение. Матвей — последний мост к «нормальному» отношению к реальности. Виктор сжигает его.

Диалог с Матвеем — это не спор, а два параллельных монолога. Матвей говорит о ценности процесса, Виктор — о ценности результата. «Лечение — это признание правомочности болезни» — ключевая фраза. Для него болезнь (страдание, хаос) не имеет права на существование. А значит, и всё, что её порождает (свободная воля, случайность, жизнь), — тоже.

«Техническое задание» — это уже план геноцида против самой природы существования, обёрнутый в безупречную математическую форму. Он не видит людей. Он видит переменные в уравнении.

Матвей пытался спасти в нём человека. Но человек был уже мёртв. Остался только Архитектор, нашедший теоретическое обоснование для своей мести миру.»

ГЛАВА 7

Университетский городок был не местом учёбы, а полигоном. Каждая лекция, каждый семинар, каждая книга в библиотеке — не знания, а компоненты. Виктор сканировал их, отбрасывая упаковку и извлекая чистый элемент.

Он погрузился в семиотику. Но его интересовала не поэзия смыслов, а механика. Как знак цепляется за значение? Где находятся швы — точки, где связь может разорваться, породив ошибку, боль?

Его конспекты были картами разломов. Он рисовал схемы, где реальность представляла как многослойная сеть. И на каждом уровне искал одно: точки, где система даёт сбой.

Нейронауки стали его второй натурой. Мозг виделся ему не храмом души, а плохо спроектированным компьютером, в прошивке которого заложены фатальные баги.

Он спал по четыре часа, питался тем, что можно было съесть, не отрываясь от текста. Его комната была похожа на лабораторию безумного учёного. Соседи по коридору побаивались его. Он не участвовал в их вечеринках, не ходил на свидания. Он работал.

Однажды ночью, на третьем курсе, инструмент нашёл его. Вернее, сложился из разрозненных фрагментов.

Виктор анализировал данные фМРТ-сканирования пациентов с когнитивным диссонансом. Его интересовал момент «сбоя» — когда мозг пытается заткнуть дыру в картине мира, порождая иррациональные объяснения.

И вдруг он увидел это. Не в данных. Между ними. Стандартный фильтр отсекал «шум» — случайные нейронные всплески. Но Виктор заметил: некоторые из этих «шумов» повторялись. Они были слабым эхом подавленных процессов. Эхом боли, страха, неразрешённого конфликта.

Это был не шум. Это был сигнал о нестабильности системы.

Мысль ударила его, как молния. Если можно фильтровать шум... то можно ли сделать обратное? Усилить определённые паттерны связей, сделав систему устойчивее? Не лечить боль, а укрепить ткань реальности в точке её потенциального разрыва?

Он работал три дня без сна. Мир сузился до экрана монитора, исписанной формулами доски и бешеного стука собственного сердца. Он создал модель. Примитивную, грубую, но работающую в симуляции.

Суть была в резонансе. Реальность — сеть вибрирующих смысловых нитей. В точке будущего разрыва вибрация становится хаотичной, превращается в болезненный «шум». Нужно подать извне контр-сигнал, который усилит «здоровую» вибрацию и подавит шум. Фактически — вшить в ткань реальности стабилизирующий смысловой патч.

Он выбрал для теста маленький, никому не нужный «шов» — фантомный зуд у пациента с ампутированной конечностью. Данные были старыми, анонимными. Он не думал о пациенте. Он думал о системе.

Запустил алгоритм. Симуляция показала: при определённых параметрах паттерн фантомной боли не исчезал. Он стабилизировался. Превращался из хаотической, мучительной вспышки в ровный, незначительный фон. Боль нейтрализовывалась как информация. Её смысл — «опасность, повреждение» — заменялся на «стабильный фоновый сигнал».

Успех.

Виктор откинулся на спинку стула. На экране мигали зелёные графики. Он не закричал от восторга. Не позвонил Матвею. Он просто сидел и смотрел.

Внутри не было радости открытия. Было ледяное, безраздельное облегчение. Как если бы он годами нёс на спине невидимую гору — и наконец почувствовал, как она сдвигается. Появился рычаг. Точка опоры.

Он не победил хаос. Он нашёл первую щель в его броне.
Это был не акт познания. Это был акт силы.

Он встал, подошёл к окну. Рассвет окрашивал крыши в грязно-розовый цвет. Город просыпался, чтобы прожить ещё один день полный случайностей и страданий.

Виктор смотрел на этот город и впервые не чувствовал презрения. Он чувствовал право. Право хирурга оперировать безнадежного пациента. Право архитектора снести ветхое здание.

Он вернулся к столу. Открыл чёрную тетрадь. Написал:

«Эксперимент №1. Стабилизация микро-шва. Результат: положительный.

Вывод: локальное изменение семиотического ландшафта с целью подавления энтропийного сигнала (боли) — возможно.

Следствие: требуется масштабирование метода. Необходимо найти ключевой семиотический узел реальности — точку максимального рычага.»

Он закрыл тетрадь. Его руки не дрожали.

Он лёг на кровать, не раздеваясь. Спал мёртвым сном без сновидений.

Утром его ждала первая лекция. Мир продолжал вертеться, не подозревая, что в одной из его клеток только что родился не учёный, а демиург.

Впервые с тех пор, как умерла Лена, он почувствовал не боль, а назначение. Он был инженер, нашедший чертёж спасения. И он был готов заплатить любую цену.

Комментарий куратора (Алисы):

«Момент искушения и падения. Виктор переходит от теории к практике. Его «успех» не приносит радости от помощи. Он приносит нарциссическое удовлетворение от обретения силы.»

Он не думает о пациенте. Он думает о системе, о точке сбоя. Человеческое измерение стирается. «Облегчение» — ключевое слово. Это облегчение не от того, что он кому-то помог, а от того, что его теория работает. Что его личная боль находит выход в действии.»

С этого момента любой, кто окажется на другом конце его рычага, перестает быть личностью. Он становится грузом, который нужно сдвинуть, или помехой, которую нужно убрать.»

Матвей предупреждал: «Ты переделаешь себя». Он уже переделан. Архитектор обрёл первый инструмент. И он жаждет применить его в масштабе.»

ГЛАВА 8

Эйфория была не чувством. Это была пустота, заполненная белым шумом статического электричества. Три дня после открытия Виктор существовал в странном, безвоздушном пространстве между сном и явью. Формулы плясали перед глазами даже с закрытыми веками. Он проверял расчёты снова и снова, искал ошибку. Её не было. Алгоритм работал.

Он не пошёл на лекции. Мир за стенами его комнаты потерял актуальность.

На четвёртый день его нашёл Матвей. Профессор постучал и, не дожидаясь ответа, вошёл. Он стоял на пороге, оглядывая комнату-лабиринт, заваленную бумагами, с доской, испещрённой новыми символами. Его взгляд скользнул по лицу Виктора — осунувшемуся, с лихорадочным блеском в глазах.

— Тебя не было на семинаре. И на двух лекциях. — Голос Матвея был спокоен, но в нём чувствовалось напряжение.

— Я работал, — голос Виктора звучал хрипло.

— Вижу. — Матвей приблизился к доске. — Что это? Это не по программе.

— Это семиотика второго порядка. Прикладная. — Виктор поднялся. В нём проснулась потребность выплеснуть открытие. Матвей был единственным, кто мог понять. Или осудить. — Я нашёл способ стабилизировать семиотический шов. Локально.

Он начал объяснять. Сначала сбивчиво, потом всё быстрее, захлёбываясь словами. О фильтрации шума, о резонансе, о контр-сигнале. Он показывал графики, симуляции. Он не сказал про фантомную боль, про незаконные данные. Он говорил о принципе.

Матвей слушал молча. Его лицо было непроницаемо, но глаза сузились в две острые точки. Когда Виктор закончил, в комнате повисла тишина.

— Интересно, — наконец сказал Матвей. Сухо. — Очень технично. Но, Витя... — он повернулся к нему. — Что это за «шум», по-твоему?

— Дисгармония. Сигнал о нестабильности системы.

— Сигнал? — Матвей вздохнул. — А что, если этот сигнал — крик боли? Ты хочешь его не услышать, а заглушить?

— Я хочу устранить причину крика! — в голосе Виктора прозвучала сталь.

— Жизнь — это не стабильная система, Витя. Она болит. Это её свойство. Ты предлагаешь ампутировать нервные окончания, чтобы не чувствовать ожога. Но без них ты не почувствуешь и тепла руки.

— Тепло руки не стоит той цены, которую платят за ожог, — отрезал Виктор.

Матвей отвернулся, провёл рукой по лицу.

— Ты больше не изучаешь реальность. Ты проектируешь её заново. С асептическими, стерильными параметрами. Это бесчеловечно.

— Человечность — это понятие, придуманное людьми, чтобы оправдать собственную неэффективность.

— Отказ от жизни! — взорвался Матвей. — Твоя сестра... — он запнулся, увидев, как лицо Виктора превратилось в ледяную маску. Но было поздно. — Лена. Её жизнь, её боль — это было ужасно. Но это была её жизнь. Ты хочешь лишить весь мир права на такой паттерн, даже если он включает страдание.

— Узоры, которые не разрушатся. Узоры, которые не заставят никого плакать по ночам, — тихо сказал Виктор.

Они стояли друг напротив друга в заваленной бумагами комнате, разделённые пропастью.

— Куда ты хочешь двигаться с этим? — спросил Матвей. Голос его был усталым.

— Масштабировать. Создать новую операционную систему для реальности.

Матвей медленно покачал головой.

— Тогда это наш последний разговор как учителя и ученика. Я могу учить смирению перед тайной. Я не могу учить божественному высокомерию.

— Риск приемлем, — сказал Виктор.

Матвей вздохнул, повернулся к двери. На пороге обернулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.